





РУССКАЯ КЛАССИКА

*Алексей*  
**ТОЛСТОЙ**

*Петр Первый*

Том 2

Москва



2020

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Т52

Оформление серии *Натальи Ярусовой*

**Толстой, Алексей Николаевич.**  
Т52      Петр Первый. Том 2 / Алексей Толстой. — Москва :  
Эксмо, 2020. — 480 с. — (Всемирная литература).

ISBN 978-5-04-109470-6

На страницах романа А. Н. Толстого оживает эпоха правления Петра Великого. В основе сюжета реальные исторические события — от смерти царя Фёдора Алексеевича до взятия русскими войсками Нарвы — выстраданной народом победы и кульминации романа; Азовские походы, Стрелецкий бунт. Грандиозные перемены в стране ломают и меняют судьбы самых разных людей. История жизней исторических личностей, таких как царевна Софья, Меншиков, Василий Голицын и многие другие, вплетена в сюжет повествования. Ярko, колоритно показаны в романе и простые люди, оказавшиеся участниками исторических преобразований в России. Именно они высказывают народное мнение о политике царя, его реформах. Но центральная фигура, по мнению самого автора, — фигура Петра. Роман написан так увлекательно, достоверно, что читается на одном дыхании.

**УДК 821.161.1-31**  
**ББК 84(2Рос=Рус)6-44**

ISBN 978-5-04-109470-6    © Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

## КНИГА ВТОРАЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

#### I

Кричали петухи в мутном рассвете. Неохотно занималось февральское утро. Ночные сторожа, путаясь в полах бараньих тулупов, убирали уличные рогатки. Печной дым стлало к земле, горячим хлебом запахло в кривых переулках. Проезжала конная стража, спрашивали у сторожей — не было ли ночью разбою? «Как не быть разбою, — отвечали сторожа, — кругом шалят...»

Неохотно просыпалась Москва. Звонари лезли на колокольни, зябко кряхтя, ждали, когда ударит Иван Великий. Медленно, тяжело плыл над мгlistыми улицами великопостный звон. Заскрипели, — открывались церковные двери. Дьячок, слюня пальцы, снимал нагар с неугасимых лампад. Плелись нищие, калеки, уроды, — садиться на паперти. Ругались вполголоса натошак. Крестьясь, махали туловищем в темноту притвора на теплые свечечки.

Босой, вприпрыжку, бежал юродивый, — вонючий, спина голая, в голове еще с лета — репы. На паперти так и ахнули: в руке у божьего человека — кусище сырого мяса... Опять, значит, такое скажет, — по всей Москве пойдет шепот. Перед самым притвором сел, уткнулся рябыми ноздрями в коленки, — ждет, когда народу соберется больше.

Стало видно на улице. Хлопали калитки. Шли гостинодворцы, туго подпоясанные кушаками. Без прежней бойкости отпирали лавки. Носилось воронье под ветренными тучами. За зиму царь накормил птиц сырым мясом, — видимо-невидимо слеталось откуда-то воронья, обгадили

все купола. Нищий народ на паперти говорил осторожно: «Быть войне и мору. Три с половиной года, — сказано, — будет мнимое царство длиться...»

В прежние года в этот час в Китай-городе — шум и крик — тесно. Из Замоскворечья идут, бывало, обозы с хлебом, по ярославской дороге везут живность, дрова, по Можайской дороге — купцы на тройках. Гляди сейчас, — возишка два распилили, торгуют тухлятиной. Лавки — половина заколочены. А в слободах и за Москвой-рекой — пустыня. На стрелецких дворах и крыши сорваны.

Начинают пустеть и храмы. Много народа стало отвращаться: православные-де попы на пироги прельстились, — заодно с теми, кто этой зимой на Москве казнил и вешал. На ином церковном дворе поп не начинает обедни, задрав бороду, кричит звонарю: «Вдарь в большой, дура-голова, вдарь громче...» Звони, не звони, народ идет мимо, не хочет креститься шепотью. Раскольники учат: «Шепоть есть кукиш, раздвинь пальцы, большой сунь меж ними. Известно, кто учит кукишем отмахиваться».

Народу все-таки подваливало на улицах: боярская челядь, дармоеды, ночные разные шалуны, людешки, бродящие меж двор. Многие толпились у кабака, ожидая, когда отопрут, — нюхали: тянуло чесночком, постными пирогами. Из-за Неглинной шли обозы с порохом, чугунными ядрами, пенькой, железом. Раскатывая на ухабах, спускались через Москву-реку на воронежскую дорогу. Конные драгуны, в новых нагольных полушубках, в иноземных шляпах, — усатые, будто не русские, — надрывались матерной руганью, замахивались плетями на возчиков. В народе говорили: «Немцы опять нашего-то на войну подбивают. Нашто в Воронеже с немками, с немцами вконец оскоромился!»

Отперли кабак. На крыльцо вышел всем известный кабатчик-целовальник. Обмерли, — никто не засмеялся, понимали, что — горе: у целовальника лицо — голое, — вчера в земской избе обрили по указу. Поджал губы, будто плача, перекрестился на пять низеньких глав, хмуро сказал: «Заходите...»

Наискосок, на паперти, юродивый запрыгал по-собачьему, тряс зубами мясо. Бежали бабы, мужики, — дивиться... Счастье храму, где прибился юродивый. Но и опасно по нынешнему времени. У Старого Пимена прикармливали так-то юрода, он раз вошел в храм на амвон, пальцами начал рога показывать, да и завопил к народу: «Поклоняйтесь, али меня не узнали?..» Юродивого с попом и дьяконом взяли солдаты, свезли в Преображенский приказ к князю-кесарю, Федору Юрьевичу Ромодановскому.

Вдруг закричали: «Пади, пади!» Над толпой запрыгали шляпы с красными перьями, накладные волосы, бритые зверовидные морды, — ездовые на выносных конях. Народ кинулся к заборам, на сугробы. Промчался золоченый, со стеклянными окнами, возок. В нем торчком, как дура неживая, сидела нарумяненная девка, — на взбитых волосах войлочная шапчонка в алмазах, в лентах, руки по локоть засунуты в соболий мешок. Все узнали стерву, кукуйскую царицу Анну Монсову. Прокатила в Гостиные ряды. Там уж купчишки всполошились, выбежали навстречу, потащили в возок шелка, бархаты...

А законную царицу Евдокию Федоровну этой осенью увезли по первопутку в простых саях в Суздаль, в монастырь, навечно — слезы лить...

## II

— Братцы, люди хорошие, поднесите... ей-ей, томно... Крест вчера пропил...

— Ты кто ж такой?..

— Иконописец, из Палехи, мы — с древности... Такие теперь дела, — разоренье...

— Зовут как?

— Ондрюшка...

На человеке — ни шапки, ни рубахи — дыра на дыре. Глаза горящие, лицо узкое, но — вежливый — человечно подошел к столу, где пили вино. Такому отказать трудно...

— Садись, чего уж...

Налили. Продолжали разговор. Большой хитрости подслеповатый мужик, с тонкой шеей, рассказывал:

— Казнили стрельцов. Ладно. Это — дело царское. (Поднял перед собой кривоватый палец.) Нас не касается... Но...

Мягкий посадский в стрелецком кафтане (многие теперь донашивали стрелецкие кафтаны и колпаки, — стрельчихи с воем, чуть не даром, отдавали рухлядь), посадский этот застучал ногтями по оловянному стаканчику:

— То-та, что — но... Вот — то-та!..

Хитрый мужик, помахивая на него пальцем:

— Мы сидим смирно... Это у вас в Москве чуть что — набат... Значит, было за что стрельцов по стенам вешать, народ пугать... Не о том речь, посадский... вы, дорогие, удивляетесь, почему к Москве подвозу нет? И не ждите... Хуже будет... Сегодня — и смех и грех... Привез я соленой рыбки бочку... Для себя солил, но провоняла. Стал на базар, — еще, думаю, побьют за эту вонищу, — в час, в два все расхватали... Нет, Москва сейчас — место погиблое...

— Ох, верно! — Иконописец всхлипнул.

Мужик поглядел на него и — деловито:

— Указ: к масляной стрельцов со стен поснимать, вывезти за город. А их тысяч восемь. Хорошо. А где подводы? Значит, опять мужик отдувайся? А посады на что? Обяжи конной повинностью посады.

Мягкие щеки посадского задрожали. Укоризненно покивал мужику:

— Эх ты, пахарь... Ты бы походил зиму-то мимо стен... Метелью подхватит, начнут качаться... Довольно с нас и этого страха...

— Конечно, их легче бы сразу похоронить, — сказал мужик. — В прощенное воскресенье привезли мы восемнадцать возов, не успели расшпилить — налетают солдаты: «Опоражнивай воза!» — «Как? Зачем?» — «Не разговаривай». Грозят шпагами, переворачивают сани. Грибов мелких



привез бочку, — опрокинули, дьяволы. «Ступай, кричат, к Варварским воротам...» А у Варварских ворот навалено стрельцов сотни три... «Грузи, такой-сякой...» Не евши, не пивши, лошадей не кормили, повозили этих мертвецов до ночи... Вернулись на деревню, — в глаза своим смотреть стыдно.

К столу подошел незнакомый человек. Стукнув доньшком, поставил штоф.

— На дураках воду возят, — сказал. Смело сел. Из штофа налил всем. Подмигнул гулящим глазом: — Бывайте здоровеньки. — Не вытирая усов, стал грызть чесночную головку. Лицо дубленое, горячее, сиво-пегая борода в кудряшках.

Подслеповатый мужик осторожно принял от него стаканчик:

— Мужик — дурак, дурак, знаешь, — мужик понимает... (Взвесил в руке стаканчик, выпил, хорошо крякнул.) Нет, дорогие мои... (Потянулся за чесночной головкой.) Утресь — видели — обоз пошел в Воронеж? Третью шкуру с мужика дерут. Оброчные — плати, по кабальным — плати, кормовые боярину — дай, повытошные в казну — плати, мостовые — плати, на базар выехал — плати...

Пегобородый разинул зубастый рот, захохотал. Мужик пресекался, — шмыгнул.

— Ладно... Теперь — лошадей давай под царский обоз. Да еще сухари с нас тянут... Нет, дорогие мои... В деревнях посчитайте, — сколько жилых-то дворов осталось? Остальные где? Ищите... Ныне наготове бежать мало не все. Мужик — дурак, покуда сыт. А уж если вы так, из-под задницы последнее тянуть... (Взялся за бородку, поклонился.) Мужик лапти переобул и па-ашел, куда ему надо.

— На север. На озера... В пустыни!.. — Иконописец придвинулся к нему, вжегся темными глазами.

Мужик отстранил: «Помолчи!..» Посадский, оглянувшись, навалился грудью на стол:

— Ребята, — зашептал, — действительно, многие пугаются, уходят за Бело-озеро, на Вол-озеро, на Матка-озеро,

на Выг-озеро... Там тихо... (Дрогнув вспухшими щеками.)  
Только те, кто уйдет, — те и живы будут...

У иконописца черные зрачки разлились во весь глаз, — стал оборачиваться то к одному собеседнику, то к другому...

— Он верно говорит... Мы в Палехе к великому посту шестьсот икон написали. По прежним годам это — мало. Нынче ни одной в Москву не продали. Вой стоит в Палехе-та. Отчего? Письмо наше светлое, титл Исуса с двомя «иже». Рука, благословляющая со шепотью. И крест пишем — крыж — четырехконечный. Все по православному чину. Понятно? Те, кто у нас иконы берет, — гостинодворцы Корзинкин, Дьячков, Викулин, — говорят нам: «Так писать бросьте. Доски эти надо сжечь, они прелестные: на них, говорят, лапа...» — «Как лапа?» (Иконописец всхлипнул коротко. Посадский, низко склоняясь над столом, застучал зубами.) «А так, говорят, след его лапы... Птичий след на земле видели, — четыре черты?.. И у вас на иконах тот же...» — «Где?» — А крыж... Понятно? Вы, говорят, этот товар в Москву не возите. Теперь вся Москва поняла, откуда смрадом тянет...»

Мужик мигал веками, не разобрать, верил ли, нет ли... Пегобородый, усмехаясь, грыз чеснок. Посадский кивал, поддакивал... и вдруг, оглянувшись, вытянул губы, зашептал:

— А табак? В каких книгах читано — человеку глотать дым? У кого дым-то из пасти? Чаво? За сорок за восемь тысяч рублей все города и Сибирь вся отданы на откуп англичанину Кармартенову — продавать табак. И указ, чтобы эту адскую траву-никотиану курили... Чьих рук это дело? А чай, а кофей? А картовь, — тьфу, будь она проклята! Похоть антихристова, — картовь! Все это зелье — из-за моря, и торгуют им у нас лютеране и католики... Чай кто пьет — отчаеся... Кто кофей пьет — у того на душе ков... Да — тьфу! — сдохну лучше, чем в лавку себе возьму такое...

— Торгуешь-то чем? — спросил пегобородый.

— Да какая теперь торговля... Немцы торгуют, а мы воем. Овсея Ржова, Константина, брата его, не знавал? Стрельцы Гундертмаркова полка... Вот моя лавка, вот их

торговые бани. Таких людей и нет теперь. Обоих на колесе изломали... Говорил Овсей не раз: «Терпим за то, что тогда, в восемьдесят втором году, в Кремле, старцев не послушали. Нам бы, стрельцам, тогда за старую веру стать дружно... Иноземца ни одного бы в Москве не осталось, и вера бы воссияла, и народ бы сыт был и доволен... А теперь не знаем, как и душу спасти...» Вот какие справедливые люди по стенам всю зиму качались... Нет стрельцов, — бери нас голыми руками... Всем морду обреют, всех заставят пить кофей, увидите...

— Вот хлеб съедим, к весне все разбредемся, — сказал мужик твердо.

— Братцы! — Иконописец с тоской вперился в мокрое окошечко. — Братцы, на севере — прекрасные пустыни, тихое пристанище, безмолвное житие...

В кабаке становилось все шумнее и жарче, бухала обитая рогожей дверь. Спорили пьяные, у стойки качался один, голый по пояс, без креста, молил — в долг чарочку... одного выволокли за волосы в сени и там, надрывающе вскрикивая, били, — должно быть, за дело...

У стола остановился согнутый, едва не пополам, нищий человек. Опираясь на две клюки, распустился добрыми морщинами. Пегобородый взглянул на него, надвинул брови. Согнутый сказал:

— Откуда залетел, сокол?

— Отсюда не видно. Ты проходи, чего стал...

— Онвад с унод? — в половину голоса быстро спросил согнутый.

— Ступай, — мы здесь явно...

Согнутый, более не спрашивая, выставил редкую бороденку и застучал клюками в глубь кабака. Посадский — испугавшись:

— Это — кто ж такое?

— Путник на сиротской дороге, — строго сказал пегобородый.

— По-каковски с тобой говорил-то?

— По-птичьи.

— А ведь он тебя будто признал, парень...

— А ты поменьше спрашивай, умнее будешь... (Отряхнул крошки с бороды, положил на стол большие руки.) Слухай теперь... Мы — с Дону, по торговому делу.

Посадский живо придвинулся, заморгал:

— Чего покупаешь?

— Огневое зелье, — нужно бочек десять. Свинцу пудов полсотни. Сукна доброго на жупаны. Железо подковное, гвозди. Деньги есть.

— Сукна доброго, железа достать можно... Свинец и порох — тяжело: мимо казны нигде не взять.

— То-то, что постараться — мимо казны.

— Есть у меня один подьячий. Нужны подарки.

— Само собой...

Посадский, торопливо царапая крючками по полушубку, сказал, что постарается — сейчас приведет подьячего. Убежал. Мужуку хотелось вмешаться в торговое дело. Наморща лоб, покашлял:

— Шерсть поярковая, кожи не надо тебе, милок? ну, — скажите, пятьдесят пудов свинца... Воевать, казачки, что ли, собираетесь?

— Перепелов бить...

Пегобородый отвернулся. К нему опять подходил согнутый человек на клюках. Держа шапку с милостыней, сел рядом и — не глядя:

— Здравствуй, Иван...

— Здравствуй, Овдоким, — так же, не глядя, ответил пегобородый.

— Давно не видались, атаман...

— Побираешься?

— От немощи... Летась погулял в лесу легонько, — не те года... Надоело, — помирать надоть...

— Обожди немного...

— А что, разве хорошее слышно?

Иван, усмехаясь, глядел сквозь чад на пьяных людишек. Глаза охолодели. Тихо — углом рта:

— Дон поднимаем.

Овдоким уткнулся в шапку, перебирал полушки.

— Не знаю, — проговорил, — слышать — донские казаки осмирнели, на хутора садятся, добром обрастают...

— Пришлых много, гультаев. Они начнут, казаки подсобят... А не подсобят, — все равно — либо в Турцию уходить, либо под Москву в холопы, навечно... Тогда помогли царю под Азовом, теперь он на весь Дон лапу наложил. Пришлых велят выдавать. Попов из Москвы нагнали, старую веру искореняют... Конец тихому Дону...

— Для такого дела нужен большой человек, — сказал Овдоким, — не вышло бы, как тогда, при Степане...

— Человек у нас есть, не как Степан, — без ума голову свою потерял, — прямой будет вож... Весь раскол за ним встанет...

— Смутил меня, Иван, прельстил, Иван, — а уж я собрался на покой...

— Весной приходи. Нам старые атаманы нужны. Погуляем веселей, чем при Степане...

— Едва ли, едва ли... Много ли нас от той крови осталось? Ты да я, пожалуй...

Запыхавшись, вернулся посадский, подмигивал щекой. За ним шел важно лысый подьячий в буром немецком кафтане с медными пуговицами, в разбитых валенках. На груди в петлю воткнуто гусиное перо. Не здороваясь, брезгливо сел за стол. Лицо — жаждущее, глаза — мутные, антихристовы, а ноздри глубоко видно. Посадский, не садясь, из-за спины, ему на ухо:

— Кузьма Егорыч, вот человек, который...

— Блинов, — мятым голосом проговорил подьячий, не обращая внимания, — блинов с тешкой...

### III

Князь Роман, княж Борисов, сын Буйносов, а по-домашнему — Роман Борисович, в одном исподнем сидел на краю постели, кряхтя, почесывался — и грудь и под мышка-

ми. По старой привычке лез в бороду, но отдергивал руку: брито, колко, противно... Уа-ха-ха-ха-а... — позевывал, глядя на небольшое оконце. Светало, — мутно и скучно.

В прежние года в этот час Роман Борисович уж вдевал бы в рукава кунью шубу, с честью надвигал до бровей бобровую шапку, — шествовал бы с высокой тростью по скрипучим переходам на крыльцо. Дворни душ полтора, кто у возка — держит коней, кто бежит к воротам. Весело рвали шапки, кланялись поясным махом, а те, кто стоял поближе, лобызали ножки боярину... Под ручки, под бочки подсаживали в возок... Каждое утро, во всякую погоду, ехал Роман Борисович во дворец — ждать, когда государевы светлые очи (а после — царевнины очи пресветлые) обратятся на него. И не раз того случая дожидался...

Все минуло! Проснешься — батюшки! неужто минуло? Дико и вспомнить: были когда-то покой и честь... Вот висит на тесовой стене — где бы ничему не висеть — голландская, ради адского соблазна писанная, паскудная девка с задранным подолом. Царь велел в опочивальне повесить не то на смех, не то в наказание. Терпи...

Князь Роман Борисович угрюмо поглядел на платье, брошенное с вечера на лавку: шерстяные, бабьи, поперек полосатые чулки, короткие штаны жмут спереди и сзади, зеленый, как из жести, кафтан с галуном. На гвозде — вороной парик, из него палками пыль-то не выколотишь. Зачем все это?

— Мишка! — сердито закричал боярин. (В низенькую обитую красным сукном дверцу вскочил бойкий паренек в длинной православной рубашке. Махнул поклон, откинул волосы.) — Мишка, умыться подай. (Паренек взял медный таз, налил воды.) Прилично держи лохань-та... Лей на руки...

Роман Борисович больше фыркал в ладони, чем мылся, — противно такое бритое, колючее мыть... Ворча, сел на постель, чтобы надели портки. Мишка подал блюдце с мелом и чистую тряпочку.

— Это еще что? — крикнул Роман Борисович.

— Зубы чистить.

— Не буду!

— Воля ваша... Как царь-государь говорил надясь зубы чистить, — боярыня велела каждое утро подавать...

— Кину в морду блюдцем... Разговорчив стал...

— Воля ваша...

Одевшись, Роман Борисович подвигал телом, — жмет, тесно, жестко... Зачем? Но велено строго, — дворянам всем быть на службе в немецком платье, при алонжевом парике... Терпи!.. Снял с гвоздя парик (неизвестно — какой бабы волосы), с отвращением наложил. Мишку (полез было поправить круто завитые космы) ударил по руке. Вышел в сени, где трещала печь. Снизу, из поварни (куда уходила крутая лестница), несло горьким, паленым.

— Мишка, откуда вонища? Опять кофей варят?

— Царь-государь приказал боярыне и боярышням с утра кофей пить, так и варим...

— Знаю... Не скаль зубы...

— Воля ваша...

Мишка открыл обитую сукном дверцу в крестовую палату. Роман Борисович, достойно крестясь, подошел к аналою. На бархате раскрыт закапанный воском часослов. Снял нагар со свечечки. Вздел круглые железные очки. Лизнул палец, перевернул страницу и задумался, глядя в угол, где едва поблескивали оклады на иконах: горел один только зеленый огонек перед Николаем-чудотворцем...

Было отчего задуматься... Ведь так если дальше пойдет, — всем великим родам, княжеским и дворянским, разорение, а про бесчестье и ругательство говорить не приходится. «Ишь ты, — взялись дворянство искоренять! Искорени... При Иване Грозном пробовали так-то — разорять княженецкие фамилии... Получилась гиль, смута... И ныне будет гиль... Становой хребет государству — мы... Разори нас, — и государства нет, жить незачем... Холопами, что ли, царь, будешь управлять?.. Чепуха!.. Молод еще, слаб разумом, да и тот, видно, на Кукуе пропил...»